

Роман Виктюк, никого не оставляющий равнодушным режиссер (одни его любят, другие — ненавидят), сидел и пил чай. — Ну что, — сказал он, сделав глубокий глоток и отложив в сторонку бублик, — спрашивай.

И я стал спрашивать.

— Роман Григорьевич, я помню, каким вы были лет десять тому назад...

— А я не помню.

— ... Странный, полуопальный, полуподпольный, андерграундный человек, существующий вне официального искусства. Затем все переменялось. Вы стали метром, а ваши спектакли — чуть ли не визитной карточкой обновленной России. Но мне всегда казалось, что эта счастливая метаморфоза противоречила и человеческой, и творческой природе режиссера Виктюка...

— А мне так не казалось. Это закономерное следствие духовного роста страны и моего собственного творческого роста. Было время, когда я — первый! — ставил Вампилова, автора, никак не вписывавшегося в праздничные советские шеренги. Какие-то тончайшие вещи, зашифрованные Вампиловым, я, правда, пропустил, но финалы у меня были авторскими — гибель, а не хэппи-энд. Ставил я и «Уроки музыки» Петрушевской, абсолютно непроходимую по советским меркам пьесу, которая могла оказаться на сцене разве что во сне. Мы с Валентиной Талызиной пришли в МГУ, собрали профессуру, рассказали о том, что мы собираемся делать, — и нас пустили в студенческий театр. Что в дни спектаклей творилось у его подъезда, находившегося в двух шагах от Кремля, описать невозможно.

Кончилось дело тем, что студенческий театр был закрыт. К ректору обращались просившие за нас деятели культуры, отдельные ходяки добрались до райкома, Брежневу на съезд партии была отправлена телеграмма — заступитесь! убивают! — но это, разумеется, не помогло. И тогда мы начали играть Петрушевскую «окопным методом». Перебрались на далекую окраину, за Бородинскую панораму... Как это метро называется?

— Юго-Западная?

— Сам ты Юго-Западная. Это была Каширка! Мы играли на Каширке, в Доме культуры. Когда нас отыскали и там, мы убежали еще дальше... Но я не могу сказать, что я был подпольным человеком — мои спектакли шли во всех академических театрах, от их сцен меня никто не отстранял. Наоборот — мне были рады и в театре Моссовета, и во МХАТе, и в театре Вахтангова. Я много работал на периферии, особенно в Прибалтике: вильнюсская премьера «Валентина и Валентины» прошла даже на день раньше, чем в «Современнике». Вильнюс был единственным местом в СССР, где можно было спокойно дышать. Я этим и занимался: тем более что меня очень любил первый секретарь компартии Литвы Снечкус. Он даже на генеральные репетиции приезжал — не как партийный чиновник, а как простой зритель. Успеху спектакля он радовался, как ребенок. А успех был бешеным — Игорю Владимирову, главному режиссеру ленинградского театра имени Ленсовета, мы смогли выделить только приставной стул. Какой же это андерграунд?

А потом наступил август 1991 года, и выяснилось, что лозунг «Искусство принадлежит народу» не имеет смысла. Народ побежал в одну сторону, искусство двинулось в другую, а я подумал, что театр теперь должен жить ради самой театральности. Слова Достоевского «красота спасет мир» сегодня актуальны, как никогда, верно? Так появились «Служанки», так появилась «Квартира Коломбины» и «М.Баттерфляй».

— Я помню свое ощущение от последнего спектакля — казалось, что вместе с ним началось другое время — то, в котором мы сейчас живем...

— Да! Так бывает, когда разламываешь яблоко, или нет, не яблоко — гранат. Слетает кожура, а там много брильянтов, звездочек, блесков...

— Весной девяносто первого года, за несколько месяцев до гибели Империи, в воздухе уже пахло тлением. Тогда мы впервые ощутили атмосферу декаданса, большого постсоветского стиля: с презентациями, идиотской светской жизнью, стрельбой и малиновыми пиджаками. Мне кажется, что вы были одним из создателей этого грандиозного спектакля — ваши постановки, роль, которую вы играете в жизни, во многом определили его стилистику...

— Я человек скромный. То, что я сейчас скажу, я никогда бы не вымолвил — если бы это вовсе не говорили другие. Американцы писали, что я тогда совершил переворот в умах, по силе воздействия равный октябрьскому перевороту.

Впрочем, художнику не стоит думать о таких вещах — иначе он может остановиться в своем развитии. Надо жить не умом, а сердцем, и тогда тебе обязательно укажут твой путь. Недавно был открыт восьмой атом водорода — это научно подтверждает существование второй реальности. Она постоянно с нами, она нас ведет — все дело в умении пеленговать ее сигналы. Если ты оброс ракушками успеха, денег, почетных званий, ты эти сигналы никогда не услышишь. Но если ты знаешь, что подлинная реальность находится не вокруг тебя, а над тобой, тебе все дается легко и весело. Ты весело приходишь в театр, радостно работаешь, наслаждаешься солнцем, улицей, репетицией, общением с людьми...

Это совсем другой подход к жизни. И если ты ему верен, то тебе будет хорошо, как бы плохо не было вокруг. Людей поглотили деньги, житейские расчеты, вокруг тебя сейчас лишь немногие. Но даже если у тебя останется всего лишь один человек — человек из твоего сна, — то ты сможешь работать для него...

— Мне кажется, что людей, которым близко ваше



РАНДЕВУ С ЦВЕТКОМ ПЕРЕСТРОЙКИ

искусство, и в самом деле становится все меньше. Время постсоветского декаданса прошло: жизнь стала жесткой, рациональной. Ваш театр вновь становится театром немногих...

— Искусство в основе своей элитарно. Я, разумеется, не сравниваю себя с Христом, но и он проповедовал избранным — рыбакам, проституткам. У рыбаков было природное начало, у проститутки художественное — они растворялись в другом человеке и получали от этого удовольствие.

— Проститутки в Москве хватает, но где вы достаете рыбаков?

— Так ведь мир не ограничивается кольцевой дорогой — недавно мы съездили на гастроли во Владивосток, Хабаровск, Новосибирск, Иркутск. Как же нас там принимали! Я вздрагивал, когда слышал на обсуждениях ваши слова «андерграунд» и «декаданс» — оказалось, что их и в Сибири знают...

— Вы провинциал, а для всех провинциалов, завоевывающих Москву, характерно...

— Я европеец.

— Но вы львовянин, и это...

— Не слышит! А я ведь, кажется, ясно сказал — я европеец, человек латинской культуры, я родом из города, лежащего на пяти дорогах, открытого всем ветрам, всем культурным веяниям — и польским, и русским, и украинским, и западноевропейским. Я всем обязан Львову, его средневековым улочкам и булыжным мостовым, его карме, которую я впитывал с детства. У каждого города своя карма, и не приведи Бог родиться и вырасти там, где хрущобы вырастают на помойках... Карму этого гиблого места можно в себя и не впускать, но к добру это все равно не приведет.

Тот, кто вырос во Львове, знает, что такое чувствовать себя изгоем в собственном доме: весь город исповедовал греко-католическую веру, и это было тайной, о которой не знал никто, кроме Львова. Стоило перекреститься на униатский манер — и огромные неприятности тебе были гарантированы...

А я к тому же учился в украинской (то есть бандеровской) школе — и отношение к нам со стороны городского начальства было соответствующим... Но даже и там я выделялся. По рабоче-крестьянским праздникам нас водили на демонстрации, и я — единственный! — ни разу не носил портретов вождей. Перед каждой демонстрацией я обматывал руки бинтами, капал на них марганцовкой и говорил, что я поранился и вождя не удержу. В школе привыкли к моей слабости и относились к ней с большим уважением...

Но еще похлеще было, когда родители раздобыли мне путевку в пионерский лагерь под Киев. Там было полторы тысячи ребятишек из Восточной Украины и один западонец, бандеровец Виктюк. Я быстро оценил обстановку, отобрал группу товарищей, сколотил из них школьный театр и поставил пьесу из партизанской жизни. Они изображали коммунистов и комсомольцев, а я играл немецкого офицера, который их ловил и пытал. Пытал я очень хорошо, с полной самоотдачей, с детской страстью. Весь пионерский лагерь был потрясен, все недоумевали — он это понарошку или всерьез? Кончилось дело тем, что в меня влюбилась тринадцатилетняя девочка, дочь начальницы лагеря, которая упростила маму оставить меня на второй срок. Я возобновил спектакль со следующей сменой, в меня влюбились еще три девички — и я назначал свидания всем четырем одновременно, и всюду успевал...

— Прямо как Владимир Андреев, одновременно репетировавший четыре спектакля. В одном репетиционном зале он оставлял дипломат, во втором — пальто, в третьем — пиджак, в четвертом — что-то более интимное... А вечером он объезжал театры, одевался и делал замечания актерам.

— Я был гораздо лучше. Во всяком случае, мои психи помнят меня до сих пор, и когда я приезжаю в Киев на гастроли, все четверо выходят на сцену с цветами. А недавно они прислали мне свою групповую фотографию — на память.

— У меня ощущение, что вы и в Москве остались... не изгоем — человеком со стороны. Вы чужой, и вас терпят лишь потому, что вы подчеркнuto ведете себя не как все.

— Ну, это не мне судить. А насчет изгоя вы, пожалуй, хватили — назовите мне другого режиссера, который поставил бы свой первый спектакль во МХАТе? «Старики» шипели, Грибов говорил: «Что это у нас тут за Винтук появился?» (ему очень хотелось обыграть то, что я украинец). Но мои актеры меня приняли и не предали (большой шаг вперед для театра, где артисты некогда предали самого Гордона Крэга). И Ефремов в меня поверил — он отпустил меня лишь тогда, когда понял, что я человек глубоко не мхатовский. Одним словом, я был «в порядке» довольно до 1991 года.

— «В порядке»? Я отлично помню то ощущение бездомности, которое от вас исходило. Мне казалось, что вы живете, как перекасти-поле, и все, что у вас есть из движимого имущества, — это зубная щетка да энное количество друзей.

— Я жил неведомо где и неизвестно на что. В паспорте вместо штампа о прописке у меня стоял штемпель гостиницы «Украина», но для бухгалтерии циркового училища, где я преподавал, этого, разумеется, было мало — и денег за лекции мне не платили. В штат меня не брали, так как у меня не было прописки, а в Москве не прописывали, потому что у меня не было работы. И так до тех пор, пока я не обменял свою вильнюсскую квартиру на комнату в коммуналке. Впрочем, я и не хотел никуда устраиваться. Я жил, как хотел, занимался, чем хотел...

— Где же вы спали, что ели, чем прикрывали наготу?

— А друзья-то на что, на что мои студенты, которые всегда относились ко мне на удивление хорошо? Я жил в Москве на птичьих правах, и для меня никогда не было проблемой что поесть, где поспать и как достать себе одежду. И это было очень хорошее время.

— А где вы живете сейчас?

— На улице Горького.

— Роман Виктюк живет на Тверской! Вот это действительно декаданс.

— Не то слово! Каждый раз, когда я прихожу домой, я думаю, что двери будут опечатаны. Ты не поверишь — это писать не надо — но у меня даже нет приватизационного чека. Мне звонят из жэка, пугают — возьмите чек, сейчас все воруют! А я и сам видел по телевизору человека, который берет чужой приватизационный чек, продает, отдает, покупает — и квартира тью-то. Я так и вижу: вот приезжаю я домой, а там уже чужие автоматчики. Потому что не может быть в одном окне у Виктюка Дума, а в другом — звездный Кремль. Ты что улыбаешься? Не веришь? Да у меня два балкона торчат в разные стороны — а уж о том, какие за стеной соседи, я и не говорю.

— Это вызов всем приличным людям.

— Представляешь, какой я подлец? Тем более что у меня до последнего времени и штор-то на окнах не было. Это примета такая — как только я вешаю шторы, так сразу и переезжаю. Так было в Вильнюсе. Киев, во Львове — и в Москве: в моей прежней квартире на Красносельской. Там я долго жил... А потом повесил шторы, и бац — переезд. Вот теперь я их повесил, и жду, когда надо будет собирать музыку и книжки.

— Расскажите о том, как нищий человек, питавшийся манной небесной, превращался в модного режиссера и звезду светских тусовок?

— А как вырастает цветок перестройки? Я — живой цветок перестройки. Подул августовский ветер, куда-то меня поселят, а я и пророс. А поскольку цветочек поднялся на нетрадиционной почве — ты меня понимаешь, да? — то его не вырывают, не топчут, и вообще обходят стороной.

— Вы хотите сказать, что до августа 1991-го у цветочка не было никаких благ?

— Да у меня их и сейчас нет. Когда-то Михаил Александрович Ульянов говорил мне: «Скоро вы получите звание народного артиста!» А я отвечал: «Не дадут». Сейчас мне говорят: «Вы получите звание в ноябре!» А я улыбаюсь.

Сейчас вот Украина меня ласкает: если я-де приеду к ним в декабре, то Кучма будет принимать меня как национального героя и я стану народным артистом Украины.

— На Украине вас считают своим?

— Это единственный случай, когда «запроданец» не был отторгнут. А с другой стороны — я же не теряю с ней связи. Я приезжаю, ставлю, каждый год привожу свои спектакли на гастроли...

— Но все же вы чувствуете себя украинцем? Ведь вы львовянин, а это особое дело — Львов не Украина, не Польша, а...

— Европа. Чуть, никакая это не Европа, это просто клочок земли, отмеченный Богом. Господь поцеловал всех людей, которые там родились, и следит за ними всю жизнь. Ощущение этой благодати все время со мной. Я знаю, что если произойдет невероятное и я забуду мой город, Бог меня оставит.

— Роман Григорьевич, вы превратились в культовую фигуру, привлекающую и отталкивающую обывателя так же, как некогда Оскар Уайльд. Вы чувствуете это?

— Нет. Это не мое дело. Я не персонаж скандальной хроники, я художник. Художник бывает творцом — тогда он все достает из себя — а бывает и проводником. В этом случае он воплощает то, что слышит. Я отношусь ко вторым — и тут уже надо быть благодарным второй реальности.

— «... И жало мудрыя змеи в уста разверстые мои...» Тогда уже скорее пророк, а не проводник.

— А вот это, пожалуй, после моей смерти! Я говорю это серьезно, я не шушу...

Беседу вел Алексей Филиппов. Фото ИТАР-ТАСС.